

ISSN 0130-7673

И О В Ы И [®]
М И Р

N M O T V R Y

5



2001

БОРИС РАУШЕНБАХ



ИЗ КНИГИ «ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ»

Реальность, наука, мечта

Читал какую-то статью в газете и наткнулся на фразу, которую автор обозначил как высказывание Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, биолога: «Ничего, никакая наука не дает действительных знаний».

Ну, прежде всего никто никогда не утверждал, что наука дает истинные, действительные знания, ибо наука есть некое приближенное описание действительности. Все знают это, посему высказывание, приписанное Тимофееву-Ресовскому, конечно, банальность. Разумеется, он имел в виду не банальность, а что-то более серьезное; думаю, цитата выдернута из контекста, как это часто бывает, когда автору статьи не хватает «подпорки».

Но фраза запала в голову, мысль заработала...

Не знаю, как наука поэтическая, а вот точные науки и впрямь не дают истинных знаний. Ученому необходимо выразить какую-то отвлеченную истину, он передает, описывает, изучает и так далее некую объективную реальность, в которой его «я» никакого значения не имеет. Если художник неизбежно пропускает материал через себя, поэтому всегда остается в нем, даже когда пытается этого избежать, то ученый просто не обращает на это внимания, ему совершенно не важно выразить себя в материале, его «я» решающей роли, во всяком случае, не играет, и это разумная точка зрения.

Если, следя за каким-то явлением, наблюдатели увидят одно и то же, тогда это наука. Если увидят разное — не наука, а поэзия, еще что-нибудь, что угодно. Но таких идеальных ситуаций, как правило, не бывает, так как не может быть ничего совершенно независимого. И современная физика сейчас поняла, что результат наблюдения зависит и от наблюдателя, а не только от явления.

Возьмем работы физиков — не буду уточнять, кого именно, — начала XX столетия, до первой его половины, скажем, 20 — 30-е годы. В физике начала прошлого века, даже до Первой мировой войны, много занимались этим вопросом и добились интересных результатов насчет того, что мы, ученые, отображаем.

Раушенбах Борис Викторович (1915 — 2001) — действительный член РАН, лауреат Ленинской и Демидовской премий, действительный член Международной Академии астронавтики, Герой Социалистического Труда. В минувшем, XX веке кроме основной работы в области космической и ракетной техники издал ряд книг мировоззренческого, философского, богословского характера. Первая книга, не относившаяся к его прямой профессии, — «Пространственные построения в древнерусской живописи» — вышла в 1975-м, вторая — включающая в себя примеры из мировой живописи — в 1980 году. Математическому обоснованию общей теории перспективы посвящена третья книга, изданная в 1986 году. Четвертая, «Геометрия картины и зрительное восприятие», опубликована в 1994 году. Сборник «Пристрастие», в который вошли документальная повесть о Германе Оберте и статьи, охватывающие круг интересов автора от иконописи до космогонии, был выпущен в свет в 1997 году. Биографическая книга «Постскриптум», завершившая столетие, издана в 1999 году. В последнее время академик Раушенбах работал над книгой с несколько ироническим названием «Праздные мысли».

Литературная запись зафиксированных на магнитной ленте бесед с Б. В. Раушенбахом осуществлена *ИННОЙ СЕРГЕЕВОЙ*.

Очень многое зависит от того, кто отображает. Но есть в этом процессе кусок, который не зависит от наблюдателя, а есть кусок, который зависит и передает какое-то свойство ученого, его состояние. Когда говорят, что не бывает абсолютно объективных данных, имеют в виду именно это. Всегда во всем все объективно — так не бывает.

К примеру, берешь утверждение «дважды два — четыре», таблицу умножения, там ни от кого ничего не зависит, всегда одно и то же, но это же не наука! А если берешь какой-то большой кусок науки, то в нем всегда присутствует наблюдатель в той или иной форме. И это нормально, так и должно быть.

Хотя в физике процесс как раз не зависит от того, *кто* наблюдатель, а зависит от того, что наблюдает *человек*. Не важно, кто — англичанин, француз, африканец. Человек влез в процесс и тем самым его изменил; он вмешался и тем самым процесс «испортил». В результате процесс стал другим. И конечно, поэтому наблюдатель в результатах отражается. Отражается он, пожалуй, каким-то образом и в объективных данных.

Но оставим это тем, кто профессионально занимается философией науки. (Иногда я говорю, и, разумеется, неправильно, что, если у человека не получается ничего путного в самой науке, он берется за историю ее, за ее философию и прочее... Шутка. Но есть в ней и доля правды.)

Когда я читаю любой ученый трактат, я чувствую не индивидуальность наблюдателя, а точку зрения эпохи, школу. И думаю: ну, это типичная школа такого-то. Или угадываю время примерного написания трактата: типично, скажем, для XIX столетия, в XX веке писали уже по-иному.

Подобные вещи видны всегда, когда знаешь эту науку и в каком-то смысле живешь в ней.

Мою последнюю книгу «Постскриптум», которая вышла в свет в 1999 году, я закончил довольно мрачным предположением: далеко не уверен, что человечество сохранится еще сто лет. Оно упрямо идет к той грани, где возможность самоуничтожения становится реальной и вероятна даже *по ошибке*. Люди все глубже изучают природу разрушения, ставят все больше физических опытов, и я — в который раз! — скажу сейчас глупость с точки зрения современной физики, но скажу ее, чтобы было понятно: представьте себе, что физики в процессе экспериментов сделали шаг, после которого стала гореть вся материя. И сгорела Земля, сгорели люди — сгорело все!

Это из области опасений, но не предсказаний. Пытаться угадать, куда пойдет наука, — самое дурацкое дело. Я с этим столкнулся, когда читал, как предсказывали ее развитие в конце XIX века, имея в перспективе, конечно, наш, только что ушедший, XX. Большого бреда в своей жизни не читал, хотя авторы были люди ученые и уважаемые. Но подумайте сами, что они могли предсказать, если им даже не снилось, что появятся радио, электроника, компьютеры, Всемирная Паутина — Интернет?..

Что поражало умы в XIX веке? Паровозы. В фильме братьев Люмьер — кажется, он назывался «Прибытие поезда» — паровоз с экрана буквально «наезжал» на зрителей, многие вскакивали и убегали, дамы падали в обморок. Вот ученые и предположили, что в XX веке очень большие паровозы поедут по очень большим рельсам по всему миру — дальше этого их воображение не шло. В те времена только зародилась авиация, и я помню некоторые карикатуры конца XIX века: по улицам плывут дирижабли, люди при помощи каких-то фантастических летательных аппаратов сигают с балкона на балкон в гости друг к другу... Чепуха, конечно, невообразимая, но она показывает уровень того времени, в том числе и уровень предсказаний по поводу развития науки.

Так что еще раз повторю: предсказывать — глупейшее занятие. Что бы ты ни вообразил, все будет наоборот. Человеческий разум приспособлен предвидеть на ближайшие час-два, ну, на сутки. Нужна ли была первобытному человеку способность предсказывать, что произойдет через десять лет? Ему в голову не приходило гадать — конечно, все останется, как при нем, пещерному

обитателю это было очевидно. А вот на час-два он предвидел: пойду в лес, убью зверя, приволоку дров, накормлю свое племя... Мало что мог планировать наш далекий предок, и только на бытовом уровне, очень коротеньком. Потому что жизнь для него не менялась.

Сейчас, наоборот, она стремительно трансформируется. Если раньше можно было знаниями, полученными в молодости, пользоваться, условно говоря, всю жизнь, то сегодня подобный стереотип абсолютно исключен. Я учился в 20-е годы теперь уже прошлого века; представьте себе, что я так и остался бы на уровне 20-х годов, когда не существовало ни полетов в космос, ни современных электронных устройств, ни космической станции «Мир», — можно сказать, человечество вообще почти ничего не знало об этом. И я был бы дурак дураком...

Значит, раньше — и сравнительно совсем недавно, в юные годы — можно было как бы загрузиться знаниями на всю оставшуюся жизнь (я, конечно, сознательно преувеличиваю; постепенно знания приумножались опытом), а сейчас человек в течение своей жизни должен переучиваться примерно три раза, причем не по такой вот системе: каждые пятнадцать лет он куда-то идет и переучивается! Нет, он учится непрерывно все время, каждые пятнадцать — двадцать лет кардинально обновляются его знания по сравнению с тем, что он делал раньше, и, вспоминая то время, он кажется себе наивным чудачком с предельно малыми возможностями.

Человеческая жизнь развивается по очень сложным законам, нелинейным, как выражаются математики, а предсказывать мы умеем только линейно и только то, что является прямым продолжением происходящего сию минуту, а не развитием влево-вправо, вверх-вниз, туда-сюда; прямое продолжение годится на пару лет, ну, лет на десять, не больше. Поэтому ничего предсказывать нельзя даже профессионалу в научной сфере: через десять — двадцать лет появится что-то, о чем профессионал понятия не имеет, он даже придумать этого не может, настолько оно будет неожиданным. А предвидеть неожиданное невозможно, на это у человека ума не хватает.

Меня могут спросить: что же, наука развивается непредсказуемо? Наука развивается сама собой, но что касается предсказаний, то они всегда строятся по нехитрой схеме — я помню, что было в прошлом году, я знаю сегодняшнее положение вещей, значит, могу представить, что будет через год. Подобный метод годится на малые отрезки времени, он удобен, реален, ибо, разумеется, если я знаю события прошлого года, то могу предположить, какие пассажи ожидают нас в будущем году. То, что произойдет через двадцать лет, тоже можно предположить, но это наверняка окажется глупостью.

Я бы сказал так: то неожиданное, что случится через двадцать лет, я себе представить не могу, и этого никто представить не может, тем более в науке. Да, она продолжает развитие, все в ней пойдет своим чередом, люди будут активнее технизировать свой быт, свой труд. Развитие науки, как известно, остановить невозможно, и мы будем свидетелями все больших достижений и новых Нобелевских премий. То есть все будет происходить нормально, выражаясь по-современному, а вот *что и как* — этого ни я и никто другой не знает.

Фантастам легче предсказывать будущее и развитие науки, чем ученым; фантасты, как правило, не связаны по рукам и ногам современной наукой, над ними не маячат никакие современные законы физики, математики и прочего. Они фантазируют, фонтанируют, и никто не вправе их обругать — на то он и писатель-фантаст, чтобы придумывать самые невероятные коллизии, попробуй упрекни: «Ты, недоумок, что ты там напечатал?!» — «А я фантаст, я просто вообразил себе...» — и так далее. Если же ученый вообразит и сморозит нечто подобное, он — псих.

Французский писатель-фантаст Жюль Верн обладал хорошим чувством будущего. Не в деталях — в них он тоже наерундил, хотя, в принципе, каким-то десятым чувством ощущал направление развития науки и соответственно многое угадывал из того, что случилось на самом деле. В этом смысле он, конеч-

но, был много выше других фантастов, которые не стремились к попытке отразить то, что будет, а тщились удивить, ошеломить читателя чем-то невероятным.

Жюль Верн был технически грамотным человеком, умел, фантазируя, отсеять явную чепуху от того, что может произойти в действительности, и, в общем, довольно верно предвидел многое, но не как ученый, а как писатель, тонко реагирующий на развитие техники, скажем так. Он все придумывал, не собираясь сам ничего делать — ни путешествовать вокруг света, ни лететь на Луну, хотя схемы для того, чтобы написать тот или иной роман, у него имелись. Чертеж межпланетного корабля приходится набрасывать даже писателю, иначе он заврется; нужно представлять себе действие аппарата, чтобы все было логично, но ничего не нужно *разрабатывать*. Жюль Верн ничего и не разрабатывал.

Известный ученый, пионер ракетной техники и космонавтики Герман Оберт, наоборот, все разрабатывал, считая, что в мире нет невозможного, «надо лишь обнаружить те средства, с помощью которых оно может быть осуществлено», Оберт пытался разработать ракеты сначала на бумаге, потом взялся их строить. Жюль Верн ничего не строил, никаких опытов не ставил, а Оберт ставил опыты, конструировал и так далее. То есть разные классы. Оберт был ученый тире инженер, а Жюль Верн — ученый тире писатель.

Это пример всегдашнего соприкосновения мечты, науки и реальности, о котором в свое время писал Циолковский, фигура в науке очень сложная. В детстве он перенес тяжелое заболевание, по-моему скарлатину, практически оглох, поэтому был очень замкнут, но зато обладал повышенной фантазией и придумывал — правильно или неправильно, не в этом дело — многое в области техники, в том числе и ракетной.

Сейчас вдруг возникла такая точка зрения, которую отстаивают некоторые ученые: Циолковский, мол, был в значительной мере дутой фигурой, то есть сделал-то много, но несущественно, его подняли на невероятную высоту в интересах советского государства и советской пропаганды, после чего он стал играть большую роль, а если говорить всерьез, то был пустым местом в науке.

Это крайняя точка зрения, и развивает ее в своих книгах бывший секретарь научной комиссии Циолковского, человек, профессионально изучавший его творчество и в свое время рьяно воздвигавший ему монумент. Я не говорю, что он прав или не прав, я просто рассказываю, к каким он пришел выводам: Циолковский — дутая величина.

В какой-то мере, вероятно, Циолковского незаслуженно подняли так высоко. Он не великий ученый, он просто умный, интересный человек, много сделавший в направлении ракетной техники, но написавший и много сомнительных работ. Сложная фигура, но не нулевая, не пустое место.

Возвращаясь к теме соприкосновения мечты, науки и реальности, подчеркну: Циолковский писал, что сначала идет мечта, потом разработка, потом осуществление. Три этапа. Мысль не оригинальная, почти все так перечисляют. Я предпочитаю начать с реальности, поэтому поставлю так: реальность, наука, мечта. Но кто-то иногда занимается и чем-то нереальным — это могу быть я, это можете быть вы, в некоторых случаях, например, это был Сергей Павлович Королев.

В ранней молодости, когда все мы увлекались планеризмом и ездили в Крым, в Коктебель, чтобы там, на его холмах, испытывать свои модели, помню, нас всех поразила «Красная звезда» Сергея Павловича, планёр, абсолютно неперспективный с точки зрения развития планеризма, но... способный к высшему пилотажу! «Красная звезда» — единственный планёр для высшего пилотажа *до сих пор!* Все удивлялись — зачем? А Королеву это и нравилось, он всю жизнь хотел удивлять мир, удивлять ученых, инженеров, коллег по работе. Ну кому, скажите на милость, понадобился бы планёр для высшего пилотажа?.. Так что мечта вполне может быть и никому не нужной. Зато множество реальных идей Сергея Павловича получили воплощение и мощно двинули вперед отечественную и мировую космонавтику.

В связи с публикацией «мрачных мыслей»¹ мне часто задают вопрос, не превращается ли результат научных разработок — в данном случае речь опять идет о физике — в какой-то момент из положительного в отрицательный? Нет, не превращается, но может превратиться по недомыслию: ведь с каменного века в человеческом мозгу ничего не изменилось, и теперь получается страшный раздрай — людям с интеллектом каменного века дают в руки невероятную энергию.

Сознательно никто не хочет тотального бедствия. И тем не менее была сделана и взорвана атомная бомба. Конечно, ученым, авторам этой бомбы, в процессе работы было интересно решить научную задачу, они не думали о морально-этических последствиях, а рассуждали, вероятно, так: *где-нибудь* «она» взорвется, мир ужаснется, враги капитулируют. Зачем иначе делать бомбу, если ее не взрывать? Глупо.

Наука не виновата, что бомба взорвалась над Хиросимой, наука ни при чем — мораль может быть у конкретного ученого, наука не моральная категория — я имею в виду физику, химию, а не этические науки, — она *никакая*, не знаю, к сожалению или к счастью. Нелепо ставить вопрос о морали, скажем, в таком случае: тела при нагревании расширяются — морально это или не морально? Грубый пример, но понятный всякому. А в большинстве случаев наука занимается именно такими задачами: тела при нагревании расширяются... и так далее.

Еще пример. Мы приняли решение затопить космическую станцию «Мир». Что это — вопрос нравственности? Нет, финансирования, и только финансирования. В «Мир» вбухано большое количество научных идей, труда, денег, но дальше бухать нет средств. Надо топить? Это далеко не очевидно. Здесь более чем уместна поговорка «семь раз отмерь, один отрежь». Тем паче, что до сих пор не ясно, будет ли наша страна занимать достойное место в новой, интернациональной программе. Международная станция станет совершеннее, потому что ее выведут на орбиту, уже учитывая громадный опыт работы «Мира». Все равно его жалко...

Можно ли было предсказать, что «Мир» когда-нибудь окончит свое существование? Бесспорно. Можно ли было предсказать развал такой мощной державы, как Советский Союз, и то, что мы окажемся с пустыми карманами? Вряд ли. Прямого отношения к науке это не имеет. Имеет косвенное. И не в области предсказаний.

«Ненаписанная биография» Леонида Леонова

Это были годы, когда я еще работал на королёвской фирме. Своих ближайших сотрудников Сергей Павлович распределил по газетам, каждого на определенный орган печати, с тем, чтобы его доверенное окружение давало соответствующую информацию о запусках или о каких-то форс-мажорных обстоятельствах в космическом деле без всякой «развесистой клюквы». Себе Королев взял газету «Правда», где писал под псевдонимом «профессор Сергеев», а меня, понятия не имею почему, прикрепил к «Известиям». Именно так я познакомился с Евгенией Николаевной Манучаровой, ведущим корреспондентом отдела науки, которая тогда занималась космической тематикой: освещала в «Известиях» пуски спутников и ракет, в связи с этим частенько звонила мне. Как правило, мы с ней встречались на собраниях Академии наук, короче, работали, как тогда говорилось, в тесном контакте.

На одном из таких собраний Евгения Николаевна спросила меня: «Хотите, познакомлю с Леоновым?» — «С каким Леоновым?» (Я думал, что это может быть кто угодно, ведь и космонавт такой есть, фамилия-то расхожая.) — «С писателем Леонидом Леоновым». — «А-а, — несколько неопределенно ска-

¹ Эссе «Мрачные мысли» см. в кн.: Раушенбах Б. В. Пристрастие. М., 1997.

зал я, — хочу». И она действительно подводит меня к Леониду Максимовичу, знакомит нас, конечно, формально, потому что он обо мне ровным счетом ничего не знал, я, к стыду своему, знал о нем еще меньше, далеко не все его произведения читал и вообще мало интересовался советской литературой. Но сам факт знакомства состоялся.

Надо сказать, что в Академии наук с давних времен существует традиция избирать в члены академии крупного писателя. Разряд «изящной словесности» был основан при академии в апреле 1899 года по случаю 100-летия со дня рождения Пушкина. Первыми академиками стали Лев Толстой, Чехов, Владимир Галактионович Короленко и поэт А. М. Жемчужников. В феврале 1902 года почетными академиками по разряду изящной словесности были избраны Максим Горький и драматург А. В. Сухово-Кобылин. На сообщении об избрании Горького царь Николай II начертил: «Более чем оригинально», и президенту академии, великому князю Константину Константиновичу, было велено от имени академии составить заявление о признании избрания Горького недействительным: дескать, академия не знала, что писатель состоял под следствием по политическому обвинению. Два академика, Короленко и Чехов, сразу же в знак протеста сложили с себя звание, демонстративно вышли из академии: вот какие традиции были заложены в существование нынешнего Отделения языка и литературы РАН — кроме знатоков литературы, литературоведов иметь в своем составе еще и крупного живого писателя. Всегда искали такого достойного человека, который не испортил бы лица академии, и было решено — не мною, конечно, — что Леонид Леонов подходящая фигура, что он пройдет, его все признают, и действительно, так и получилось. Избран он был в Академию наук СССР на семьдесят четвертом году своей жизни.

Не помню сейчас, как и почему мы с ним сблизились. Сначала это были обычные: «Здравствуйте!» — «Здравствуйте!» — «Как сегодня чай?» — «Неплохо заварен». Потом наметились контакты по двум вопросам. Первый — устройство мироздания, вопросы космогонии. Леонова страшно волновала проблема Большого Взрыва, после которого возникла наша Вселенная, и, таким образом, мир был *сотворен*, а не существовал вечно. Это его очень будоражило, потому что идею сотворения мира он, как писатель, воспринимал поэтически, а не грубо математически, как мы, ученые.

Это была одна линия нашего общения, я назвал бы ее астрономической. Он на эту тему любил порассуждать, поспорить со мной, говорил, например: «Как это так, не может быть скорости, превосходящей скорость света!.. Нет, здесь у вас в науке что-то не то...» Его собственные физические теории были, как правило, несостоятельны, ему все время, как писателю, хотелось изменить законы физики, так что у нас было много пустых для науки разговоров, но по сути очень интересных. Я был представителем иного, не литературного мира, и именно это Леонову было во мне занято.

А другая линия была, как это ни странно, богословская. Леонов считал меня знатоком богословия. Не я его, а он — меня! Правда, к этому времени у меня вышел ряд книг, в которых, в частности, речь шла о древнерусской живописи, об иконописи. Иконы, да и классическую живопись, во многом основанную на евангельских сюжетах, нельзя понять, не занимаясь богословием, и я углубился в богословские трактаты, напечатал несколько работ в этой области — к 1000-летию крещения Руси, о Троице и по некоторым вопросам богословия иконопочитания. И был хорошо знаком с ректором Духовной академии, который помог мне консультациями.

Леонид Максимович об этом знал, поэтому у меня дома часто раздавались его телефонные звонки, и он спрашивал, к примеру: «Если бы священник такой-то сделал то-то, а дьякон бы сделал то-то, как вы думаете, может такое быть или нет?» Это ему было нужно для романа «Пирамида», над которым он тогда усиленно работал. «Могут ли они сказать такое, или это нелепость?» И я ему отвечал: «Не лезет ни в какие ворота потому-то и потому-то...» Или наоборот: «Очень хорошо получается!» — «А если вот так?» — «Надо подумать...»

В общем, мы с ним многое обсуждали по телефону, но, конечно, не художественную суть. Я его консультировал по части того, что допускает и чего не допускает традиционное православие, потому что у него в «Пирамиде» герой-то священник, а персонажи — дьявол, ангел и прочее; то есть ему это надо было знать досконально, а он разбирался нетвердо. Плохо даже, к моему удивлению. Может быть, он знал это дело практически, ну, как, скажем, вести себя при посещении церкви. Меня всегда умиляло, как он перед входом в церковь крестился и кланялся. А более тонкие вещи, теоретические, ему были ни к чему, когда он посещал церковь как прихожанин, но для работы над романом они ему понадобились.

Кроме этих двух линий он «использовал» меня еще следующим образом: ему очень хотелось бывать в Троицкой Лавре, в монастыре. Но как член Союза писателей, да еще один из секретарей Союза, он находился под бдительным оком, и ему несподручно было ехать туда одному — он просто не имел права этого делать. Как так — известный писатель Леонов вдруг пошел молиться! Это ужасно было, немыслимо в те годы. Это конец! А со мной оказалось очень удобно, потому что я в Сергиев Посад — тогда Загорск — ездил часто, моему начальству было плевать, что я туда навещаюсь, потому что я занимался ракетами, а не идеологической работой. Вот Леонов и «примкнул» ко мне: формально еду я, а он как бы в моей «свите». Это смешно звучит, но фактически мы с ним так и ездили — я и какая-то странная, никому неведомая персона. И когда мы приезжали в Лавру, то, входя в храм или выходя из него, он крестился — незаметно, но крестился, показывая, таким образом, с каким великим почтением относится к этому делу. Я бы сказал, это делало ему честь.

Я всегда предупреждал в Духовной академии, что приеду с Леоновым, и нам устраивали шикарный прием, потому что я часто там бывал — к тому времени, повторяю, я уже серьезно работал над темой иконописи, иконопочитания, занимался проблемами богословия, коротко сошелся не только с ректором Духовной академии, но и с его помощниками, ко мне хорошо относились не потому, что я такой замечательный человек, а потому, что ни один нормальный советский ученый к ним не ездил, боясь за свою репутацию. А я был неким выродком, который ездит и не боится — во-первых, потому, что не работает в идеологической сфере, а во-вторых, мне уже пришлось хлебнуть разных разностей и побывать за решеткой — страха я не испытывал. Тем более, что нашим ракетчикам было решительно все равно, езжу я в Лавру или нет, главное, чтобы ракеты взлетали. Поэтому и получалось, что я — неподотчетный субъект, которому ни перед кем не надо «тянуться», не член Союза писателей, для которого подобная поездка могла означать гибель карьеры. Поэтому Леонов и ездил со мной как бы случайно: академик, мол, ехал и меня захватил. Все это сейчас звучит смешно, но так было на самом деле.

Обитатели Лавры были польщены тем, что их посещает известный писатель, — меня-то они мало принимали во внимание, просто знали: вот, появляется у них какой-то чудак, имеет отношение к ракетам... Это ведь Церкви не столь уж интересно, а вот знаменитый писатель!.. Леонова встречали с почетом, кормили нас вкуснейшими обедами, потом мы часами сидели в кабинете ректора Духовной академии, ходили по церковному музею, посещали ректорские апартаменты в частной квартире ректора, прямо из музея, даже на улицу не надо было выходить.

Ректором тогда был Александр, до него — Филарет, потом еще кто-то. Я там подвизался много лет, и за время моего пребывания ректоры академии менялись не потому, что плохо работали, а, наоборот, их повышали за хорошую работу. Ректор Духовной академии обычно бывал архимандритом, то есть в высоком чине, но не в епископском. Не «генералом», если выразиться более попятным нам языком, а полковничьего звания, скажем так. И когда он созрел для получения генеральского звания, ему приходилось оставлять акаде-

мию и получать епархию, потому что, лишь работая в епархии, он удостоивался епископского чина. Александра отправили куда-то на юг, и я его потерял из виду. А Филарет из ректоров академии стал сейчас митрополитом Белорусским.

Служил среди них и очень, я бы сказал, практичный клирик — не помню, был ли он ректором или кем-то в ректорате, — так он, чтобы занять высокое положение, согласился стать епископом в Южной Америке, в русских приходах. Климат оказался для него губительным, нездоровое сердце дало себя знать, и уже через год он оказался епископом в России, правда не в центральной губернии, а где-то в удалении.

Так что всякие движения и передвижения в Духовной академии происходили на моих глазах, я в них косвенно участвовал как свидетель. Таким свидетелем невольно стал в ряде случаев и Леонид Леонов, «нечаянный» мой попутчик, который всегда мог сослаться на академика Раушенбаха: поехал, мол, с ним, и невзначай завернули в Лавру...

Леонова интересовала не только внутренняя жизнь Церкви, как интересуется она всякого православного человека, его все интересовало как материал для творчества, он хотел наблюдать эту жизнь, видеть ее, говорить о ней. Возможно, он получал какие-то полезные советы, потому что задавал, помню, епископу вопросы: «А может ли быть так вот и так?» — и епископ укорял его: «Ну что вы, нельзя, потому что это обусловлено тем-то и тем-то».

Леонида Максимовича тяготила его церковная безграмотность, он не хотел, чтобы в романе (в той же «Пирамиде») была написана богословская или церковная чушь. Чтобы какой-нибудь священник, читая, сказал: «Да что он, с ума сошел, что ли? Разве такое может быть!» Писатель этого опасался, он недостаточно знал жизнь Церкви изнутри, чтобы самому доходить до всех тонкостей, часть этих тонкостей он узнавал от меня, звоня по телефону и расспрашивая об устройстве мироздания и о церковных правилах. Ну, и кроме того, еще больше он получал от прямого контакта с Церковью. Не просто с рядовыми священниками, а с профессорами Духовной академии. Самый высокий уровень. Но тем не менее постоянно упрекал меня, что я редко звоню и редко у него бываю.

Тогда я был очень плотно занят своей работой, и мне было, честно говоря, не до визитов. А сейчас я жалею, потому что очень много интересного пропустил, не узнал от него. Помню, например, фразу из его романа «Скутаревский», которая меня зацепила, там один брат говорит другому, что наука открывает только то, что душа уже знает. Очень тонкое наблюдение, и хотелось бы с ним об этом подробно потолковать, но... И еще, помню, меня поразило его умозаключение о том, что у каждого человека есть как бы две биографии: одна, которой он живет, — его должность, семья, дача, машина, квартира, карьера; другая — его *ненаписанная биография*. И такие ненаписанные биографии есть у всех. Как я понимаю, те, которые человек проживает внутри себя, в воображении, но не может прожить в реальности по ряду обстоятельств. Мне это очень понравилось. И конечно, если бы не моя невыносимая загруженность по работе, я общался бы с ним чаще, а так — я жил на окраине Москвы, он в центре, у Никитских ворот, а дача у него была в Переделкине. То есть нужно было долго и далеко добираться, особенно обратно. У меня же времени всегда катастрофически не хватало, и при всем желании чаще с ним видиться у нас получалось вынужденно редкое общение. Хотя Леонид Максимович явно стремился к общению.

При таком взаимном стремлении нам все-таки удавалось встречаться несмотря на всякие препятствия, не идеологические, а житейские, несколько раз в год. И проводить время в беседах или поехать в Лавру или в Переделкино. Причем, когда мы ехали за город, он всегда говорил: «Я вас доведу, я вас доведу!» — и мы добирались не электричкой, а машиной, очевидно, обслуживающей его как секретаря Союза писателей.

Дома у него была вполне заурядная обстановка, единственно, что поражало, так это растения. Цветы. Даже в городской квартире. Цветы и растения были необыкновенные, хотя, конечно, главный цветник располагался у него на даче. И об этом постоянно велись разговоры — он был страстным растениеводом, цветоводом. Не знаю, можно ли его назвать профессионалом в этой области, но большим любителем — бесспорно, что, может быть, даже важнее. Тут можно было бы многому у него научиться, если бы меня это интересовало, но, увы, эта сфера мне совершенно неинтересна, и когда Леонид Максимович показывал свою знаменитую оранжерею с коллекцией кактусов в Переделкине, мне все это было явно ни к чему, а он ею так гордился! И придавал всему растущему особое значение.

Леоновы у нас никогда не бывали, ибо мы с женой жили очень скромно и не были убеждены, что можем принять их достойным образом. А недостойно жена не хотела их принимать. Такая вот ситуация. Моя супруга, Вера Михайловна, была знакома с писателем по Историческому музею, где она занимала пост директора музея по науке, а Леонов там много работал и был членом разных комитетов по охране памятников русской старины. Поэтому, когда мы с ним встречались, он всегда передавал приветы моей жене.

Звонили мы друг другу только по мере необходимости, то есть не на тему, как вы себя нынче чувствуете, какая погода... Чаше звонил он, всегда по делу: «Вот у меня такой вопрос: может ли быть скорость больше скорости света?» Я привел эту фразу просто в качестве примера, но скорость света его действительно почему-то очень волновала. Не исключаю, что после моих консультаций он что-то менял в своем романе, в «Пирамиде», которую толком и не кончил. Жаловался иногда, что всю жизнь пишет этот трудный роман, где один из персонажей — дьявол. Хотелось бы наделить его высшей мудростью, да нельзя: он антипод Богу. Поэтому приходится изобретать особый строй речи, особую лексику для дьявола, чтобы показать его высокомерие.

Надо сказать, что Леонов всегда как бы соединял бесчисленное множество отрывков в единую ткань. На мой взгляд, иногда ему это удавалось, иногда — не слишком. Но он очень ревностно относился к физическому процессу писания — писал только от руки, считая, что мысль перетекает через руку на бумагу. Судя по тому, что он мне все это подробно рассказывал, он мне в какой-то степени доверял. Хотя вообще-то старался держаться на значительной дистанции от всех, особенно от братьев писателей. У него не было оснований мне не доверять, во-первых, потому, что я не имел никакого отношения к писателям и даже случайно не мог его подвести. Он знал, что никакой «протечки» быть не может. Во-вторых, как всякому человеку, ему хотелось с кем-то поделиться, тем более что он делился со мной вещами, в которых я мог оказаться ему полезным. Он мне не рассказывал того, где я не мог вмешаться и сказать: это так, это не так, это хорошо, это плохо, это правдиво, это неправдиво. Эпизод, где кто-то кому-то объяснялся в любви, он со мной не обсуждал — что я мог ему по этому поводу советовать? А вот там, где дело касалось мировоззрения, астрономии, физики, конечности скорости света, начала мироздания, — тут он меня использовал на сто процентов.

Наверное, у него имелось много подобных источников информации, и я был только узко направленный информатор. Мы с ним болтали о чем угодно, это само собой разумелось, но как источник информации и не прямой участник в его творчестве я был консультантом по особым вопросам. Консультантов по вопросам литературного, художественного творчества в те годы, когда мы с ним познакомились, ему не требовалось: он был абсолютно в себе уверен, за его плечами уже стояли десятки опубликованных книг, он был удивительно тонким художником-стилистом, на редкость точно чувствовал слово. Даже писатели-эмигранты отмечали яркость его роскошного русского языка, пышность и свежесть его речи, редкие, диковинные присловья. Кто-то даже выразился так: его узорный язык напоминает старинные русские вышивки.

Удивительно! Взять хотя бы фамилии: Грацианской, Шатаницкий... Вихров... Какой подтекст. Или вот такая фраза: «Огорчение ремесла с мотивировкой — с наилучшими связаны наихудшие последствия». Огорчение ремесла с мотивировкой! Разве сейчас кто-нибудь так напишет? Разве кто-нибудь из писателей интересуется сейчас всерьез проблемой метагалактики? Может быть, поэтому Леонова так мало сейчас переиздают, так невнимательно читают, если вообще читают.

Конечно, «Пирамида» — первоначально роман, по-моему, назывался иначе — задумывалась как более впечатляющее произведение. Но автор вдруг понял, что не успеваает завершить работу над своим произведением так, как его задумал, и незадолго до смерти кое-как, с чужой помощью, не всегда попадающей в цель, собрал роман, что называется, из кусочков, стремясь к тому, чтобы швов не было видно. Как у хирурга, говаривал он, который пришивает оторванный палец: нужно не только соединить суставы, кожу, мышцы, но и сшить мельчайшие сосуды, чтобы по ним запульсировала кровь и палец ожил. И остается впечатление, что роман все-таки не кончен. Это было не то, что задумывал Леонов и написал бы сам от начала до конца. Но все пересилило предсмертное желание кончить то, что должен был сделать в жизни, что всю жизнь мечтал сделать, но так и не успел, и решил хоть как-то, хоть чем-нибудь завершить. Все ждали выхода этого романа, и когда он вышел — а издавался он при жизни Леонова, — то наступило некое разочарование. Растерянность.

Сказалось, конечно, постороннее вмешательство, пусть и с добрыми намерениями; но разве нашелся бы редактор, соответствующий по уровню такому писателю? Поэтому существование «Пирамиды» странное: роман есть — и его как бы нету. За ним не гоняются, не обсуждают, не переиздают. Тем более в наши дни, когда читатель не желает или не может вникать в нутро произведения, смаковать его лексику, стиль, усваивать не торопясь мысль автора, проникаться замыслом Леонова в истинном смысле этого слова. Теперь ведь проскакивают по сюжету, не обращая внимания на пейзаж, портрет, нюансировку чувств — все, что подарила мировой литературе литература русская, русская классика. Теперь это считается даже не модным, стыдным, как в мои юные годы считалось неприличным писать безупречно грамотно, что свидетельствовало о непростетарском происхождении.

Иные времена. О богатстве языка и невероятном многообразии прозы, ее приемов, тонкостей почти никто не думает.

Вот был крепкий писатель, очень популярный в свое время, хоть и не великий мастер, Алексей Николаевич Толстой. Кто сейчас его помнит, кто гоняется за его книгами? В лучшем случае смотрят по телевизору «Гиперболоид инженера Гарина» или «Хождение по мукам». Горького вообще растоптали, и это несправедливо, он хороший писатель. Думаю, растопчут и Пушкина. Его даже не нужно растаптывать, он как бы вычеркнут из жизни молодого поколения, потому что в школе изучение Пушкина ведется, как правило, формально, только немногочисленные энтузиастки словесницы заставляют учеников читать что-то пушкинское сверх той скудной программы, которая отпущена на «эту тему». Можно сказать, что Пушкин уже не присутствует в сознании юного человека. Уж не говорю о Лермонтове... Поэтому судьба «Пирамиды» в общем-то закономерна.

По-моему, отрывки из нее были опубликованы чуть ли не в журнале «Новый мир»², причем эти опубликованные фрагменты, мне кажется, в окончательный текст романа не вошли, а, на мой взгляд, они очень интересны. Думаю, были в романе какие-то линии, с которыми Леонид Максимович уже не мог в отпущенное ему время справиться.

² Леонов Леонид. Мироздание по Дымкову. Фрагмент романа. — «Новый мир», 1984, № 11.

Одна из таких линий — история Ангела, который прилетел на Землю в командировку как некто Дымков. Это Леоновым очень хорошо придумано, особенно то, что Ангел рассказывает студенту, выгнанному из учебного заведения за неуспеваемость, устройство мироздания, рисуя схему его пальцем на снегу! И при этом рассказчик говорит, что не может ответить за ее истинность, потому что студент вроде как шибко неумный, да еще и схема-то рисуется пальцем на снегу, так что возможно, что все в пересказе напутано.

Леонову надо было выразить свое представление о мироздании, которое он, конечно, придумал сам, надо было эту выдумку защитить, потому что она входила в явное противоречие с наукой. И Леонов не мог сказать: а я считаю, что это так! Это было бы нелепо, его бы высмеяли. Но если некий тип рассказывает все бездарному студенту, от имени которого ведется повествование, автор не несет никакой ответственности, потому что студент мог здесь все перевернуть.

Бедный Ангел, посланный в командировку из небесных сфер, замерз, пошел, чтобы согреться, в планетарий — хороший ход, что и говорить! В окончательном варианте романа я не помню этого эпизода в том виде, в каком мне рассказывал автор, а позже — в каком это было напечатано отрывком из будущего романа. Значит, какие-то потери есть.

На мой непросвещенный взгляд, первую главу романа просто нужно отрезать от всего остального текста, и получится независимая повесть. Потому что то, что происходит дальше, к первой главе отношения не имеет, намечены только весьма косвенные связи через некоторых действующих лиц. То есть они действуют и тут и там, но по делу не сочетаются.

Конечно, в романе описываются вещи, которые Леонов, наверное, сам переживал, наблюдал, о которых слышал. Недаром же Берия про Леонова сказал: «Неясный человек!» Еще бы! В «Пирамиде» дьякона совершенно затюкали, ему ни туда ни сюда, и чтобы сохранить свою жизнь, свою семью, он вынужден отречься от сана, причем не просто отречься, а публично, на большом собрании. Отрекся. Пришел за справкой, что он отрекся, а ему сказали, что бланков нет, кончились бланки, приходите в другой раз. Можно себе представить, что творилось в душе у этого дьякона. И можно понять фразу Леонова, которую я однажды от него слышал: скользить или врать неохота. Он часто говорил о себе, что вечно ходит с подмоченным задом — возьмите хотя бы историю с его молодым произведением «Вор». В конце 30-х годов этот роман был запрещен и изъят из библиотек, переиздали его только уже после смерти Сталина. И кто-то видел, что роман «Вор» лежал в 30-е годы на столе у вождя, весь исчерканный красным карандашом.

И это при том, что внешняя сторона биографии Леонова сложилась как бы благополучно: Леонид Максимович был лауреатом Ленинской и Сталинской премий, имел ордена, был избран депутатом Верховного Совета, много издавался, занимал солидное место в руководстве Союза писателей, уже при жизни считался классиком... И одновременно — «неясный человек», «вечно хожу с подмоченным задом», «неохота скользить или врать»... И эпизод, рассказанный когда-то мне Леоновым — потрясающий эпизод! — уж не знаю, знаком ли он широкой писательской общественности: Сталину не понравились пьесы Леонова «Унтиловск», «Волк» и «Половчанские сады». Автор, конечно, сразу почувствовал это: «Унтиловск» был снят с репертуара, а на «Волка» и «Половчанские сады» были написаны беспощадные по тем временам рецензии. И Леонов почувствовал, что его могут взять «под белые руки». И все писатели это поняли, по каким-то неведомым признакам.

Сейчас-то мы знаем, что без санкции Фадеева пишущего человека не сажали, а тогда об этом можно было только догадываться. И вот Леонов поведал мне, что решил узнать у Фадеева, насколько плохи его дела: что, уже все или есть еще какая-то надежда? Фадеев побоялся пустить его в дом, и Леонов стоял в саду, а мэтр говорил с ним с балкона второго этажа своей дачи. Многие утверждают, что под балконом стояла жена Леонида Максимовича, а не он

сам, но мне он рассказывал об этом эпизоде именно *от себя*, видимо, как художник, приняв все унижение, пережитое женой, в *свою* душу.

Позже Леонид Максимович включил эту сцену в роман «Русский лес», помню, что, читая этот эпизод, всегда мысленно усмехался и вспоминал реплику Леонова, что Фадеев поступил так, чтобы никто не мог его обвинить в *личном контакте* с сомнительным коллегой.

А потом Сталин позвонил Леонову домой и сказал: что-то я давно ваших пьес на театре не видел... Как будто от Леонова это зависело! И тут же, рассказывал мне Леонов, к нему мгновенно выстроилась очередь из писателей, и первым в этой очереди стоял Фадеев!

Мои воспоминания о Леонове для прекрасной книги, которую собрала дочь Наталия к 100-летию со дня рождения отца, получились совершенно скудные и неинтересные, гораздо суше, чем то, о чем я вспоминаю сейчас. Память капризная штука — когда надо, она умолкает, и ничего путного сказать или написать не можешь, а когда сидишь на досуге, в праздности, вдруг перед тобой встают картины, которые ты и сам-то давно забыл, а все так ярко и живо, как будто происходило вчера.

Леонов производил на меня впечатление ужасно одинокого человека, казалось, что рядом с ним никого нет, кроме семьи, жены. Поэтому-то он так трагически и воспринял ее смерть и последние пятнадцать лет своей жизни вдовел. Он был одинокий человек, сознательно желающий быть одиноким. Поставил на дачном участке деревянную башню, уединялся там для работы, весь поселок ядовито подшучивал, называя ее «башней из слоновой кости». Это еще сильнее подчеркивало его желание уйти, отгрести от себя все ненужное.

Разумеется, он мог заполучить в друзья — искренние или неискренние, это другой вопрос — почти любого человека. Всякий почел бы за честь быть с писателем Леоновым в близких отношениях: «Я — друг Леонида Леонова!» Любой бы ходил, выставив пузо. Кроме того, он был очень интересный человек, незаурядный собеседник, так что с ним было не скучно любому, не только мне. Но он почти никого не хотел видеть в друзьях, я так понимаю.

Кроме того, он хорошо знал и видел жизнь, остро наблюдал за всем, что происходило вокруг, видел, как исчезают внезапно люди, сам слышал в трубке голос вождя после того, как подвергся необъяснимой опале, поэтому я чувствовал в нем элемент некоей осторожности. Тогда все боялись, так или иначе. А если учесть его родословную, то было чего бояться.

Деды Леонова были купцами, причем не мелкими: Леон Леонович Леонов, дед по отцу, владел бакалейной лавкой в Китай-городе; другой дед — по матери предки Леонида Максимовича были Петровы из Ярославской губернии — предприятием под названием «Торговый дом Петрова». Женился Леонид Максимович на дочери Сабашникова, Татьяне Михайловне, тогда было два брата Сабашниковых, создавших знаменитое по сей день издательство. До Октябрьской революции они считались людьми весьма состоятельными, потом, конечно, у них все отобрали, издательство разорили, и судьба Сабашниковых в конце концов закончилась трагически.

С такими родственниками, да еще будучи беспартийным, удивительно, что Леонов уцелел, ни разу не был посажен, хотя есть сведения, что доносы на него писались регулярно, пьесы, как я уже сказал, снимались с репертуара многих театров. Удивительно и то, что в такой обстановке он полностью сохранился как художник, ни в чем не уступая требованиям литературных канон того времени. И среди писателей был не просто стилистом или «мовистом», как выразился бы Катаев, он был художником с парадоксальным порой мышлением, но всегда знающим, ради чего он пишет именно так, а не иначе.

Любопытно, что всем, в том числе и мне, особенно нравится его повесть «Evgenia Ivanovna». Я считаю ее лучшей не потому, что она лучшая на самом деле, а потому, что она наиболее мне доступна, скажем так. Написана очень просто, бесхитростно, для самых непритязательных читателей. Любая домохозяйка, которая в руки не брала произведений Леонова (а читать его романы —

это интеллектуальная работа!), прочтет «Evgenia Ivanovna» с большим интересом. Это, конечно, «выпавшая точка» в его творчестве. Она не похожа на классического Леонова. И он даже мне как-то объяснял, что это как у Ромена Роллана, который после тяжелого, вязкого по стилю «Жана Кристофа» почувствовал потребность освободиться и написал блестящего, остроумного «Кола Брюньона», замечательную книгу, как бы разрядку, реакцию на предыдущую сложную и во многом утомительную работу.

Да, «Жан Кристоф» — сложная, мучительная вещь, где описаны отношения французов и немцев через судьбу композитора, которую Ромен Роллан смог написать еще и потому, что сам был хорошим музыкантом. А «Кола Брюньон» как бы блистательный перевод со старофранцузского на современный французский, веселый, легкий, легкомысленный, с соблазнительной Ласочкой, с воспеванием земной крестьянской любви.

Леонов считал, что его «Evgenia Ivanovna» — это как бы отдохновение от плотности и некоторой мучительности «Барсуков», «Вора», «Соти», «Скутаревского», «Дороги на Океан», «Русского леса»... Интересно, что повесть эта написана Леоновым в 1938 году, а опубликована в 1963-м. Он не спешил печатать свои произведения, тщательно их дорабатывал, перерабатывал. Как говорил он о «Пирамиде», «писал всю жизнь».

Он многое рассказывал по этому поводу, надо было бы записывать, но раньше я не придавал этому значения, поэтому многое забыл, но то, что «Evgenia Ivanovna» была как бы разрядкой, прыжком в сторону, чтобы отдохнуть, оглянуться на сделанное, он говорил часто. Эту повесть и нельзя поставить в ряд его крупных произведений, что вот она стоит между этим и этим. Просто прыжок в сторону; у немцев есть такое понятие «Seiten Sprung», то есть отпрыгнул в сторону и сделал что-нибудь другое.

Можно сказать, что на моих глазах происходили и трагедии его жизни. Не в прямом смысле, а косвенно. Я был знаком с его женой Татьяной Михайловной — когда мы приглашались к Леоновым на обед, она всегда за столом тактично держалась «на втором плане», и только если ей хотелось о чем-то меня спросить, говорила: «А вот можно...» Меня это всегда трогало и чуть сместило, потому что Леонид Максимович серьезно отвечал: «Можно». Когда ее не стало, это в какой-то мере сказалось и на наших отношениях, ну, не прямо, конечно. Просто у Леонова изменился общий тонус жизни. Если живешь с человеком рядом десятки лет, то потом, когда он умирает, многое ломается в собственной душе. Поэтому, наверное, Грин часто кончает свои рассказы: «Они умерли в один день». Это мечта: «Они жили счастливо и умерли в один день». По-моему, так кончается его рассказ «Пятьдесят верст по реке»...

Несколько раз Леонид Максимович ездил к знаменитой прорицательнице Ванге. Он был крупным человеком в Болгарии, возглавлял советское общество дружбы с этой страной, был награжден болгарским орденом Кирилла и Мефодия. Но не все высокие чины, которые тогда охотно ездил в Болгарию, стремились к Ванге. Леонов много слышал о ней еще до пика ее популярности, поэтому, когда он выразил желание с ней встретиться, болгарские власти пошли ему навстречу. Они были по-своему правы, всячески оберегая Вангу от ненужных посетителей, от непрерывных журналистов, любителей сильных ощущений и прочих. Болгары сделали ее, формально, конечно, старшим научным сотрудником какого-то научно-исследовательского института, по-моему, психологии. Она получала там зарплату, имела статус, ее можно было «закрыть», к ней можно было «не пускать» случайных людей. Если бы она оставалась частным лицом, государство не смогло бы так ее охранять. А так она была научным сотрудником специального института, и ее ограждали. Все равно у нее был огромный ежедневный прием, но введенный в разумные рамки. Не думаю, что государство с этого что-то получало в свой карман или как-то ее затирало, специально ориентировало — ни в коем случае! Просто все было разумно организовано.

По рассказам Леонида Максимовича, а он посещал Вангу трижды, она его потрясла. Прежде всего тем, что знала о нем больше, чем он сам. Например, спросила про сестру: «Где Ленча (Лена по-болгарски) твоя?» Он удивился: «Какая Ленча?» Забыл, что в раннем детстве у него была сестра, которая умерла маленькой. И тогда Ванга ему говорит: «Ну что ты врешь, я же вижу, что она рядом с матерью стоит!» И он вспомнил! И рассказывал, что был совершенно сражен этим обстоятельством — Ванга знала, а он забыл.

Он не был дубово-глупым материалистом, каким у нас тогда полагалось быть, поверил Ванге вполне, ее слова убедили его лишней раз, что Ванга не просто какая-то шарлатанка, легенда, созданная досужей молвой. Ведь он приехал к ней, чтобы убедиться, жульничает она или нет, грубо говоря. Хотел посмотреть — что же это такое? Одни говорят взахлеб, другие, пятые-десятые... Ему, как писателю, было даже просто интересно посмотреть на эту чудо-женщину, о которой столько говорили и писали. И она его убила своими словами о сестре — это даже не предвидение, не провидение, это что-то необъяснимое. Ну откуда ей было знать, что у него в детстве была сестра, которая умерла совсем маленькой и которую звали Лена?

По поводу скончавшейся жены Ванга ему сказала: «Она недовольна, что ты убрал цветок. Поставь его на место». Откуда ей было знать, что Леонов убрал с подоконника постоянно красовавшийся там большой цветок? Конечно, ей могли рассказать о советском писателе Леониде Леонове, сообщить какие-то подробности его биографии, но не могла же она знать то, что он сам забыл? И как только Леонов вернулся домой, он поставил цветок на место.

Все это произошло за несколько лет до его смерти. Он еще видел, но уже с трудом. В последние годы жаловался, что писать сам не может, приходится диктовать, ему это очень трудно, ведь он даже машинкой пишущей никогда не пользовался, все писал от руки. Считал, что машинка — это механическое творчество, неживое, а диктуя, он не чувствует материала.

Без возможности писать, что главное для меня, часто повторял Леонов, приходит пустота и бесцельность жизни, и это ее укорачивает...

Сложное было время, и можно понять Леонова с его стремлением к одиночеству и нежеланием иметь друзей в писательских кругах. Как-то я сказал одному человеку, который возмущался, что его подвели почти под арест или по крайней мере под увольнение какие-то приятели. Я спросил: зачем же он треплется? Как же так, ответил он мне, я же говорю только ближайшим приятелям! А что такое предатель? — парирую я. Предатель — это приятель. Врага вы знаете, опасаетесь его, потому что он должен вам вредить. А предателем, обратите внимание, может быть только близкий вам человек. Враг действует по законам врага. Предатель только тот, кому вы доверились, то есть приятель.

Если бы Леонов откровенничал и приятельствовал со своими друзьями по перу, не сомневаюсь, что его посадили бы. Но он не откровенничал, и это его спасло. Спасло его и заступничество Горького, который его как бы «благословил» в молодости, на Капри. Леонов рассказывал об этом скупно и отрывисто, потому что Горький его хвалил, и передавать эти похвалы другому человеку Леонову было неудобно. Поэтому рассказывал он о своих поездках в Сорренто фрагментарно и неэмоционально. Но Горький заметил его сразу, по первым произведениям, выделил среди всей молодой писательской поросли. Тогда ведь много народа хлынуло в литературу, но только о Леонове Горький сказал Сталину: «Имейте в виду, Иосиф Виссарионович, Леонов имеет право говорить от имени русской литературы...»

Невооруженным глазом видно, что у Леонова была очень сложная жизнь. Не зря незадолго перед смертью он сказал, что ему о жизни известно все: смерть — это уже кульминация человеческого познания, когда известно все и остается последнее, таинственное...